

Лирическое
отступление,
или Объяснение
в любви





МЫ СУМЕЛИ, МЫ СМОГЛИ

И все ж спасение в любви...

Зорий Балаян

Есть люди, жизнь которых всецело принадлежит поэзии: они растворены в ней, она — слепок их души, их образ жизни, их «всё». Зорий Балаян не посвятил себя поэзии целиком, но она — весьма существенная духовная составляющая его творчества. Поэзия не стала его судьбой, но всегда была его любимой подругой. Сначала — школьной: первокласником читал на детском утреннике у елки небольшой отрывок из книги Аветика Исаакяна... Ну а затем поэзия следовала за ним всюду, кем бы он ни становился: врачом, художником, матросом, журналистом, руководителем многочисленных рискованных экспедиций, спортсменом, участником боевых действий... Он писал стихи повсюду, и в тундре, и в тайге, и в океане, наверное, писал бы их и в пустыне, но в последней — он вряд ли бы надолго задержался, амплуа пустынника, отшельника Зорию Балаяну совсем не подходит, при его неумной энергии и общительности, ненасытной жажде постигать жизнь и людей, ему всегда необходимо не просто — постоять около вулкана, а — очутиться в самом его кратере... Недаром он стал ярким, заметным публицистом — это и явилось его основным, жертвенным призванием... Ну а стихи? Да, он писал их, иногда печатал, некоторые из них стали песнями...

Но он не склонен был преувеличивать их достоинств. Однако и отрешаться от любви к поэзии — не мог. Писал от случая к случаю, в моменты эмоциональных вспышек радости или горя, иногда всерьез, иногда в шутку, в искрометном добром юморе ему не откажешь... Это — некое дополнение к любимому им жанру путевых заметок. Можно назвать их и листками из дневника. Лирическими белыми заметками на полях... Словно цветные стеклышки калейдоскопа, они образуют порой живую картину, небезынтересную и для других, так как в

этих стихотворениях «на случай» ощутимы живость ума, наблюдательность, сердечная теплота и открытость души. Привлекают и незаурядная философия и литературная оснащённость, солидная, но не тяжеловесная эрудиция. Кроме того, в Зории Балаяне чувствуется художник, он тонко воспринимает цвет и свет, умеет подмечать игру оттенков — как в природе, так и в человеческой душе. Вот, например, такое описание: «Плывет, подпрыгивая на крутых океанских волнах, маленькое суденышко, удивляя, пожалуй, разве только стаи дельфинов, которые, наверное, с особым интересом смотрят на выведенные на обоих бортах узорчатые буквы армянского алфавита, на цветущий крест, на круг с согнутыми лучами внутри, символизирующий саму вечность». Зримо, выразительно. И увлекательно, добавлю. Хотелось бы и самому очутиться на этом маленьком суденышке, плывущем навстречу чудесам...

Внутренняя поэтичность придает публицистике Зория дополнительное очарование. Вот лишнее доказательство, что поэзия — шире стихов как таковых: она воздух, которым мы дышим... Именно так и понимает спасительную миссию поэзии в общественной и культурной жизни страны, человечества вообще, Зорий Балаян. Это — «кислород», точнее не скажешь!

Зорий Балаян — убежденный противник каких бы то ни было нивелирующих тенденций в искусстве, попыток «сузить» человека, низвести его до роли «приставки к компьютеру». Рассуждения премудрых «ревнителей глобальной компьютеризации» на тему, что книга больше «не нужна», вызывают в нем благородное и стойкое, активное негодование. И тут я — да и многие, думаю, — готовы пожать ему руку... Он рыцарь культуры и духовности, кроме того, он человек, обладающий редкой целеустремленностью и волей, действенный, а не отвлеченно рассуждающий. Для него высшее счастье — это осуществленная мечта. И стихи его, даже самые непритязательные «послания», это тоже — сгустки духовной энергии, обращенные к близким людям — жене, детям, внукам, к замечательным друзьям, которыми щедро одарила его жизнь, — они будут безразличны и другим, вовсе, может быть, незнакомым Зорию людям, потому, что он обладает тем свойством, о котором глубоко лирично сказал Джон Китс: «И ты далеко в человечестве». В наше время слишком много разобщенности,

духовного и душевного отчуждения — слишком мало вот такой, открытой и углубленной одновременно, человечности, растворенности в красоте, правде, разумной справедливости. И — мало героического. Увлекательного. Мы как-то теряем, мне кажется, ту высокую ноту, без которой — не может быть полнокровного искусства.

Борясь с риторикой, с ложным пафосом времен «железного занавеса», мы — увы! — выплеснули с водой и ребенка. Не призываю становиться на котурны. Но величье есть! «И с этим ничего не поделаешь», — как сказал великан, ненароком наступив на лилипута.

...Ведь можно же возрождать старинные храмы, плавать путями предков на уникальных судах, совершать «кругосветку»:

Чертили килем путь на карте:
Восток и Запад, Север, Юг.
Вернувшись снова в Море старта,
Впервые мы замкнули круг.

Как не воскликнуть, после всего пережитого и испытанного: «Боже! Боже, и это сумели мы. Мы сумели, мы смогли».

Луч такого ошеломительного, выстраданного счастья лег и на стихи Зория Балаяна, которые, я думаю, уже одним этим, несомненно, заинтересуют читателя как лирическое дополнение к его беспримерному труду летописца «Киликии», «Армении» — двух кораблей, которым суждено всплыть в море истории...

Светлана СОЛОЖЕНКИНА



БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ К МОИМ СТИХАМ НИКАК НЕЛЬЗЯ

Настало время честно признаться, что на протяжении всей кругосветки каждый день, в шторм и штиль, в холод и зной я писал стихи. Собственно, так было всегда. На военных кораблях во время службы на Балтийском флоте. На лодках «Вулкан» и «Гейзер» даже песню написал. На собачьих и оленьих упряжках в камчатской и чукотской тундрах. На парусной яхте «Киликия» — вокруг Европы. Это не значит, что я на суше, точнее сказать — дома, не грешил стихами. Речь, скорее, о другом. Как бы это поточнее истолковать? Поэтому я, презрев ложную скромность, слово дал поэту и литературному критику Светлане Соложенкиной, которая как-то предметно, что ли, размышляла на эту тему еще в своем предисловии к шестому тому моего Собрания сочинений, ссылаясь на наши более чем тридцатилетней давности споры. Она вспомнила, как на уникальном армянском многовековом празднике переводчица я ей, написавшей к тому времени уже несколько статей о моих повестях и рассказах, клялся покончить с беллетризмом! «Никаких романов! Никаких повестей!» — громко говорил я при гостях-коллегах из разных союзных республик.

Время в стране, особенно в Армении, было, как всегда, нелегкое. Оно явно нуждалось в оперативном жанре, каковым является художественная публицистика. Время, когда могущественная страна СССР страдала от многих недугов, даже от всенародного авитаминоза. И по инициативе товарища Леонида Ильича Брежнева в срочном порядке учредили еще одно «спасительное» учреждение — Министерство плодоовощного хозяйства. Кажется, я больше всех писал на ту самую продовольственную тему, столь далекую, казалось бы, от беллетристики и поэзии. Но зато на наши публикации (не даст соврать член редакционного совета издания моего многотомника,

бывший заведующий отделом корреспондентской сети и заместитель главного редактора «Литературной газеты» Владимир Бонч-Бруевич) были действенные отклики не только от министерств и ведомств, но и от политбюро ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Слишком громко прозвучит, но скажу: все это благодаря нашей публицистике. И тем не менее, Соложенкина была права. Я вовсе не расставался и не расстался с поэзией. Другое дело, что не печатался. Мало того, очень даже хорошо знал и трезво сознавал, что художественная публицистика довольно капитально, даже я бы сказал действенно, брала верх. И до того все это во мне было серьезно, что через двенадцать лет я вынужден был оставить практическую медицину. Подчеркиваю, практическую. Ибо всю свою жизнь много писал о проблемах здравоохранения и медицины, профессионально следя за мировыми новостями. И активно занимался санитарным просветительством, что само по себе является узкой медицинской специальностью. Если бы мне сказали в школьные годы, что я посвящу всего себя художественной публицистике, то, думаю, я недовольно пожал бы плечами и самонадеянно бросил тоном юношеского максималиста: мол, стану поэтом и буду сам иллюстрировать свои поэмы. Под впечатлением от прочитанной книги или увиденного фильма я задумывался над сюжетами для своих рассказов и записывал в специальные тетради, на которых было печатными буквами написано «Под карандаш». А потом ловил себя на том, что сюжеты беру уже не из книг и фильмов, а из голодной, холодной военной и особенно послевоенной жизни.

Наш дом в Степанакерте находился рядом с Верхним бульваром (был у нас и Нижний, который назывался Пятачком) со спортивными и танцевальными площадками, комнатами, где старики играли в нарды, а молодежь — в шахматы и шашки. Но в двух местах стояли на трубчатых ножках с застекленными дверцами стенды, на которых висели газеты «Правда», «Комсомольская правда», «Советский спорт» и на двух языках — местная газета «Советский Карабах». Вспомнил об этом не всуе. Часами я стоял у газетного стенда и больше всего читал о спорте, кстати, не только в «Советском спорте». Но вот что особо запомнилось, можно сказать, на всю жизнь. Почти каждый день во всех пяти газетах можно было прочитать стихи.

А были дни, когда поэзии отдавались целые полосы. Я не оговорился. Стихи были во всех газетах, и в «Советском спорте» в частности. Большею частью этакие панегирики-эпиграммы, воспевающие чемпионов. Некоторые я запомнил, опять же, на всю жизнь. Вот одно четверостишие (речь о легендарных в сороковых годах советских спринтерах Каракулове и Санадзе):

Каракулов на финише орел,
Но зато на старте славится Санадзе.
Ах, если б кто-нибудь их вместе свел,
Прославился б спортсмен Каракуладзе.

Чувствую, в третьей и четвертой строках есть некие огрехи, но наверняка — по вине памяти моей. Да будут снисходительны ко мне и автор эпиграммы, и его герои. Как-никак — это было более шестидесяти лет назад. Да и вряд ли я тогда строки эти специально заучивал наизусть. Прочитал один раз. Запомнил. Вот и все. Запомнил, конечно, и более серьезные вещи. В пятидесятые годы печаталось много интересных книг, которые мы передавали друг другу на день-два. Еще до XX съезда КПСС (1956 г.) «реабилитировали» «Двенадцать стульев» и, кажется, вся страна, по крайней мере, знаю, весь Балтийский флот, выучивали наизусть целые абзацы из Ильфа и Петрова. Появлялись и тематические книги, например, о гитлеровских концентрационных лагерях. И вот, читая о Заксенхаузене, что вблизи Потсдама, я узнал, что на стене одной из бетонных камер были выцарапаны четыре строчки:

Я вернусь к тебе еще, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб пройти тропой твоих отцов.

Стихи эти были обнародованы, но, судя по всему, автор не откликнулся. Значит, он мучительно выводил буквы на бетоне, зная о том, что его убьют. С тех пор прошло около шестидесяти лет. И я никогда не забываю эти слова. Часто думаю об авторе. Беседую с ним. Не сомневаюсь, что его расстреляли, но в то же время верю, что он выжил. Он не ушел. Он остался.

Уже потому, что остались простые, тихие четыре строчки, двадцать слов, девяносто пять букв. И в них не только вся любовь к России, но и вся Россия.

А заговорил обо всем этом, чтобы напомнить себе, тебе, ему, современнику, современнику, соседу по эпохе, что было время, когда чуть ли не ежедневно в газетах миллионными, если не сказать миллиардными (в сумме изданий), тиражами печатали стихи. И их читали. Миллионы и миллионы людей читали в стране, где я жил. И я знал об этом. Я видел, как обожествляют поэтов не только в России, где поэт больше чем поэт. Конечно, обожествляли не так возвышенно-величественно, как это было, скажем, в России в Золотом и особенно в Серебряном веках. Но все же поэты моего поколения, а тем более послевоенные, «послекультовые», влияли на лирические чувства современников, особенно молодежи. Помнятся феноменальные аншлаги в московском Политехническом музее, где родились легендарные Окуджава, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Ахмадулина и другие. Особо запомнилась конная милиция в Лужниках, где царствовал не футбол, а поэзия. Время другое было.

Вообще, должен сказать, я сам пришел к открытию, что именно время, в котором живет человек, формирует его личность. И, возвращаясь к теме моего поколения, скажу, что оно пережило несколько этапов этого самого времени, формирующего человека. Вот здесь и хочу сделать, пожалуй, последнее лирическое отступление...

С детства, точнее в юности, я просто обожал (если, конечно, это верный глагол в данном случае) русских художников-передвижников. В студенческие годы в Рязани читал о них все, что было написано, не говоря о гениальной прозе гениального художника Ильи Репина. Особо гордился еще и потому, что в это волшебное творческое объединение передвижников кроме русских входили лишь художники Украины и Армении (это уже от моего нормального, здорового национализма). Так вот, среди великих художников-передвижников навеки запал мне в душу Федор Александрович Васильев. Он у меня с ходу выделился из всех гениев своим... возрастом. Ему было всего двадцать лет, когда в 1870 году Иван Николаевич Крамской и Владимир Васильевич Стасов основали легендарное художе-

ственное объединение. Через три года Васильев умер. Помню, как сейчас: осенью 1963 года я с дипломом врача, окончившего Рязанский медицинский институт, летел на Камчатку с тяжелым грузом. Это были книги, которые накопились во время учебы. Там, кроме всего прочего, была целая дюжина альбомов с репродукциями передвижников и среди них — Федор Васильев. Меня почему-то больше всего трогало за душу то, что он так мало прожил. Автора «Оттепели» и «Мокрого луга» исследователи сравнивали с Лермонтовым не только потому, что великий поэт тоже жил безбожно мало — двадцать семь лет, но и потому, что пейзажи Васильева были «эмоционально лирическими», «душевно драматичными». И впрямь — как у Михаила Юрьевича. Федора Васильева я сравнивал (по возрасту) с еще одним поэтом. Англичанин Джон Китс, проживший двадцать шесть лет. Это он, современник Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, вывел формулу, что красота сильна, смерть сильнее, но сильнее всего поэзия. Конечно, речь идет о классиках.

Казалось бы, ничего удивительного во всем этом нет. В конце концов, не кто-нибудь, а бог искусства Леонардо да Винчи громко сказал: «Поэзия — это живопись, которую слышат». Правда, за пятнадцать веков до него Гораций уже сравнивал поэзию с живописью.

Привожу все это только для того, чтобы признаться, что, обожествляя поэзию, вижу в ее «актах милосердия» спасение человечества. Особенно сегодня, когда, как уже говорилось, цивилизация уничтожает цивилизацию; когда к стремлению идти в ногу с прогрессом не прибавляются трезвость, мудрость и чувство беспокойства за завтрашний день, за судьбы детей и внуков. За грядущее, которое невозможно себе представить, да еще при Интернете, без «О природе вещей» Лукреция Кара (да простит меня мой кумир Публий Овидий за то, что не его называю. Правда, я обязательно еще не раз вернусь к нему), и «Книги скорбных песнопений» Нарекаци, и «Листьев травы» Уитмена... Кстати, Уолт Уитмен считал, что великих поэтов не читают, а слушают. Он так и писал, что, чтобы получить великих поэтов, надо иметь также великих слушателей...

Как тут не вспомнить любимого мной историка Василия Осиповича Ключевского. У меня были свои «века» историков:

Геродота, Хоренаци, Карамзина, Алишана, Улубабяна и многих, многих других. Еще на Камчатке я читал с карандашом в руках «Курс русской истории». И только тогда осознал суть истории крепостного права России. Но больше всего я обожествлял автора, самого Ключевского, кроме всего прочего еще и потому, что он, будучи, казалось бы, сухим историком, безгранично любил поэзию, сравнивая ее с кислородом для общества. Лучше приведу его слова: «Поэзия разлита в обществе, как кислород в воздухе, и мы не чувствуем ее только потому, что ежеминутно ею живем, как не ощущаем кислорода потому, что ежеминутно им дышим».

Вот так. Это утверждает не кто-нибудь, а выдающийся историк. И тут я бы хотел обратить особое внимание не на высокий слог, не на поэтическую образность мыслей Ключевского, а на то, что общество «ежеминутно», то есть всегда, живет поэзией. Сравнивая ее с кислородом, историк дает понять, что без поэзии нельзя жить, что, как говорил мудрец, даже ложь настоящей поэзии правдивее самой правды жизни.

Говоря обо всем этом, надо признаться: очень хорошо понимаю, что такое настоящая поэзия. Ибо считаю себя настоящим читателем. Ничуть не трепещу, если рождаются глагольные рифмы, зная о том, что речь идет о некоем литкриминале. Казалось бы, можно приставить к стенке автора рифмы «закопали» и «запахали». Однако я убежден — это просто гениальная рифма в конкретном стихотворении. Автор этой рифмы сам Давид Самойлов. Часто встречались с ним в стенах редакции «Литературной газеты». Никогда не забуду его «Балладу о немецком цензоре», этаком германском «сотруднике Главлита». Философское произведение с трагической концовкой: «Он погиб, и его закопали, // А могилу его запахали». Гениально. С тех пор я очень избирательно отношусь к глагольным рифмам. Конечно, речь не идет о «может» — «поможет», «идут» — «придут».

...Настоящих поэтов в истории человечества было не так много. Но во все времена было много людей, которые, как говорилось, искали «наилучшие слова» и расставляли их в «порядке наилучшем». Где-то я читал давно, что тысячи и тысячи людей поют, а вот Шаляпин — один. В Армении, я знаю, тысячи и тысячи соотечественников пишут стихи, а вот Ши-

раз — один, Севак — один. Нарекаци ни с кем и ни с чем сравнить нельзя. Он — просто бог.

Лично у меня не бывает такого состояния души, при котором хочется писать и писать только стихи. А вот искать и найти, что называется, литературное начало и конец публицистического очерка или документального рассказа — это другое дело. В процессе и ходе работы над, скажем, путевыми заметками, репортажами, эссе и всем таким прочим так и хочется остановиться — оглянуться и изложить свою мысль хоть в одной строке или в одной строфе или даже в целой поэме. Чаще всего это бывает в письмах, даже в телеграммах (когда-то были и такие средства общения).

В автобиографической повести «Без права на смерть» я подробно рассказал, как мы познакомились с моей будущей женой Нелли, которая знала, что я давно уже планировал многомесячную экспедицию на собаках и оленях по камчатской и чукотской тундрам до берегов Ледовитого океана. Это же надо — долгое и тяжелое путешествие совпало со временем первой беременности жены. И нас спасали телеграммы. Я посылал стихи из каждого камчатского поселка. Она меня успокаивала словами «у меня все в порядке», иногда жалуясь на слишком «медленные передвижения собак по тундре».

Родилась дочь Сусанна. Под конец экспедиции. И я уже понял, что расстаюсь с Камчаткой. Переехал в Ереван со своей огромной библиотекой и двумя двухпудовыми гирями. И тотчас же начал тосковать по маршрутам и скитаниям. По тундрам и морям.

Стал собкором «Литературной газеты». Жена думала, что буду, наконец, сидеть дома и отправлять какие-то заметки в редакцию. Ничего подобного. Все мои материалы были написаны в пути, так сказать, в командировках. Вторая дочь Лусине родилась на две недели раньше срока. И меня опять не было дома. В дороге был. Когда ждали сына Гайка, я сделал все, чтобы быть рядом в роддоме. Повезло. Как только медсестра ворвалась в кабинет главного врача Григория Окоева с доброй вестью, я сделал сальто при всех, а жене отправил стихи с намеками на «дорогу»:

Сына ты мне подарила,
Твои целую ноги я.

Жизнь моя, моя ты сила,
С тобой всегда в дороге я.

Через пять или шесть дней, помнится, с близкими друзьями на целой кавалькаде «волг» и «жигулей» поехали в окоевский роддом забрать сладко спящего Гайка и счастливую Нелли с сияющими глазами. До черной «Волги» нес я сына на руках, и, как сейчас помню, мне почудилось, что я лечу, как птица. Поблагодарил май месяц за сына и еще потому, что жена тоже майская. Ранее благодарил март и август, подаривших мне дочерей Сусанну и Лусине. И вот тут-то полились из меня стихи.

Подарил мне март Сусанну,
Стала дочь моим крылом.
Я махал им неустанно,
Не летится на одном.

Август Лусине принес мне.
Стало два крыла. На них
Налегал я, как на весла,
Но не смог взлететь. Притих.

Гайк ко мне явился в мае.
Вмиг ожили два крыла.
И, как гордый лебедь в стае,
Полетел я, как стрела.

...Гайку не было и года, как я уже отправился в полугодовое путешествие по Армении, итогом которого стала книга «Очаг». Не трудно представить, как я благодарен был Богу за такую жену. Три малыша — старшей нет пяти. А я в долгой дороге. Тут не надо думать, что она у меня, видите ли, этакая терпеливая нюня. Очень даже может быть грозной и ничуть не молчаливой. Если и случались размолвки, то она не делала из этого трагедии. Ведь она тоже любила моего любимого Овидия, который ровно две тысячи лет назад писал только для нас, наверное: «Без размолвок недолго длится любовь». А ведь Публию Овидию Назону нельзя не верить, ибо он, этот гениальный, а

стало быть, опальный поэт был не только практиком, но и теоретиком любви. Достаточно вспомнить, точнее напомнить, как он назвал свои главные книги — «Наука любви» и «Лекарство от любви»...

Скоро, очень скоро я раскрою тайну, почему я вдруг опять вспомнил Овидия. А пока вернусь к жене. К тому, как она терпела наши долгие разлуки. Здесь надо еще добавить, что не только путешествия и литгазетовские командировки разлучали нас, но и тяжелые и долгие годы Арцахской войны. Признаюсь, и тогда, в окопах, я писал ей стихи. Не хочу простенько и самоуничиженно называть их виршами. Не считая себя настоящим поэтом, в то же время не считаю себя версификатором. Я просто люблю поэзию. Если хотите знать, не могу без нее, как без «кислорода» Василия Ключевского. Люблю особенно классиков, сознавая, что мир погибнет, если в мечущемся, в смятенном XXI веке они (поэты-классики) будут не в чести у народов. Классическая поэзия держится, как христианство, на трех китах — на Любви, Доброте, Самопожертвовании. Можно, конечно, продолжить список. Просто нет надобности, ибо каждая из этих трех поистине чувственных планет вбирает в себя очень и очень многое.

Я как-то подумал, что давно еще, наверное, в глубокой древности, появились анекдоты об армянах и евреях. Обратил внимание, что любой антисемит не только антисемит. Он всех не любит, а по сути — и свой народ тоже (Сталин, Гитлер...). Часто спорят о том, кто хитрей — еврей или армянин? В разных книгах писал об этом, в том числе и о спорах вокруг терминов «холокост» и «геноцид».

Но вот в Панаме встретился с целым взводом евреев (российских) и вечером на борту «Армении», словно кто-то вел моей рукой, вывел целых три строфы:

Из века в век мы слышим слово,
О том, кто будет похитрей?
Один наивнее другого:
Что армянин и что еврей.

Какая хитрость, если двери
У нас не ведали замков.

И были лишь одни потери
На протяжении веков

Друг друга нам грешно бояться,
Друг другу мы — всегда форпост.
И термины — суть не разнятся:
Что — геноцид, что — холокост.

* * *

В моей домашней, похвастаюсь, богатой библиотеке, много собраний сочинений классиков, 34-х томная медицинская энциклопедия и множество больших энциклопедий, но все же превалируют поэты. Я же себя считаю публицистом, и, извините, цену себе здесь я знаю. Однако это не значит, что не могу, при всех своих многочисленных, честно говоря, искренних оговорках, позволить себе (впервые) обнародовать стихи, которые в данном случае были написаны только во время кругосветного плавания. Не могу не признаться и в том, что речь идет о моем своего рода долге перед любимой женщиной. В конце концов, без большой любви во все времена люди не смогли бы выдюжить и пережить чудовищной частоты и продолжительности, как у Одиссея, разлуки, в которой, как писал Тютчев, есть «высокое значенье».

У меня вышло все очень просто. Ничего не подозревая, не планируя, вдруг чувственно осознал, что во мне все уже готово, все горит, все кипит, все уже написано, зарифмовано. Остается только молча кричать. Правда, понятия не имел, что это за «все»? И о чем я неслышно кричал? Просто четко знал: что-то огромное и какое-то терпкое, действительно готовое в душе и остается только передать бумаге. Не только знал, что без любви, как оказывается, всю жизнь я был бы как парус без ветров, что любовь без разлуки какая-то безвкусная. Пресная. И тысячи таких образов, о которых я еще не ведал. Я просто был убежден, что непременно что-то родится и днем, и ночью, и при бешеной качке, и даже в момент, когда буду работать над репортажами, которые просто душили меня. Однако самое главное — это то, что давно готово начало конца. Еще когда где-то, помню, между Канарами и Барбадосом я то и дело беседовал с Публием Овидием, переживая вместе с ним страш-

ную его опалу, страшное его изгнание. Это в какую глушь надо было сослать гения, чтобы история не смогла сохранить дату его смерти. Лишь по его записям можно узнать, что он умирал мучительно: «Менее мучительна сама смерть, чем ее ожидание». Кто-то из современников, находясь рядом с умирающим поэтом, делал какие-то записи. Увы, и он не записал дату. Так и неизвестно, когда точно умер Овидий. Одни пишут «примерно 17-й год нашей эры», другие «18-й»... Слава Богу, сохранились последние его слова, правда, прерванные смертью. И слова эти стали своеобразным стартовым эпитафием к моей поэме. Правда, слишком уж громко звучит «поэма». Скажу честно: просто в трех океанах каждый раз, улучив момент, писал, так сказать, назависимые друг от друга четверостишия. Потом, под конец, решил все-таки собрать их вместе. Попробовал написать начало, концовку, чтобы как-то связать их, не более того. Честно говоря, для меня ценность этих строф в том, что написаны они в трех океанах и во множестве морей.



БЕЗ ТЕБЯ

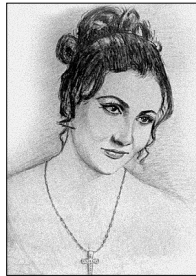
О, если бы кто-нибудь знал...

Это — последние слова Публия Овидия, которые великий поэт, кстати, король посланий, не успел завершить.

Остановилось сердце. Что он хотел сказать? Никто никогда не узнает.

Итак: «О, если бы кто-нибудь знал...».

Как я упорно добивался цели.
По бездорожью шел я напролом,
И добирался я до сердца Нелли
В пургу и шторм, в тайфун и бурелом.
Пока искал я дочку Маргариты,
Я наломал так много в жизни дров.
Лишь после понял, что мы вместе — слиток,
Что без нее я — парус без ветров.



* * *

Ты помнишь, в Ереване на Московской?
Впервые там увидел я тебя.
Надменной ты была и очень броской,
И я неслышно произнес: «Судьба».

Ты помнишь вечер тот в Степанакерте?
Наш первый поцелуй и первые цветы,

Уже тогда подул попутный ветер
В мои льняные паруса мечты.

Ты помнишь на Камчатке нашу тайну?
Лукаво я взглянул в твои глаза
И шепотом, но вовсе не случайно,
Тебя я Гюлистанкою назвал.

А помнишь Петропавловск у камина?
За чаем ворковали мы без слов,
Подвинула стакан, сказав: «Остынет».
Подумала: «Куда, черт, занесло?»

Я ж про себя: «Камчатка мной воспета,
Привык я к ней, как узник к кандалам,
А тут девчонка — прямо на край света:
Делить со мной кошмары пополам?!»

Однако я тогда уже заметил,
Придется мне оставить край земли.
Иначе вновь меня потянут ветер,
Собачии упряжки, корабли.

Все это время, видят мои боги,
Пленял меня наш ереванский дом.
И хоть бродил я часто по дорогам,
Но вот в душе я думал о другом.

Мечту свою я заглушил Арцахом,
Отбросив остальное на потом.
Я знал, что грезы обернутся прахом,
Коль вдруг мы не спасем наш отчий дом.

В те годы я не смел мечтать о море.
Как говорят, мать-Родина звала.
Победа ведь не может быть без горя,
А боль у нас всеобщая была.

Теперь, когда детишки повзрослели,
От внуков стал еще теплей очаг,

Узнала ясновидящая Нелли,
Что началось начало всех начал.

Один Бог знал, что этот час настанет,
Когда смогу я замолить грехи.
И вот теперь, в открытом океане,
Я, как всегда, пишу тебе стихи.

Я на пути моем громил преграды,
Обманывал себя, как сатана.
И вот однажды выдохнул всю правду:
Я без тебя — как свадьба без вина.

Как не бывает дня без темной ночи,
Приливов и отливов без луны,
И как без страсти не бывает строчек,
Так без тебя я — домбра без струны.

Об острова, утесы часто бился,
Искал повсюду райские сады.
Их не нашел. Лишь только убедился:
Я без тебя — как рыба без воды.

Как без отдачи не стреляют пушки,
Без молнии как не бывает гром,
Как без Петра и Ганнибала — Пушкин,
Так без тебя — мой «Домострой», мой дом.

Я без тебя — как нитка без иголки,
Как рай без ада и как свет без тьмы.
Я без тебя — как егерь без двустволки,
Как список лагерей без Колымы.

Мне без тебя никак нельзя, хоть тресни.
Я без тебя — как житняк¹ без степи.
Я без тебя — как соловей без песни.
Я без тебя — как якорь без цепи.

¹ Житняк — степная трава. (Прим. авт.)

Я без тебя — как без пера бумага,
Как без ума и мудрости уста.
Как подвиг без порыва и отваги,
Эзоп без басни, церковь без креста.

Я без тебя — как старт без подготовки.
Мне без тебя — как без винтовки в бой.
Как в Карабахе завтрак без тутовки,
На Арарате — без ковчега Ной.

Я без тебя — как без картины рамка,
Я без тебя — как без Кремля Москва.
Как драгоценный камень без огранки,
Как без стрелы — тугая тетива.

Я даже не хочу мечтать о рае,
Хочу грешить с тобою, чтоб затем
Грешить всегда, при этом твердо зная,
Что я из ада сотворю Эдем.

Я без тебя — как грешник без проклятий
И как без снега долгая зима.
Я без тебя — как солнышко без пятен.
Мне без тебя свобода, как тюрьма.

Я без тебя — как армянин без горя
И как без телескопа Бюракан.
Я без тебя — как Посейдон без моря,
Как без Маштоца — комплекс Ошакан.

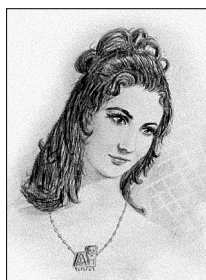
Я без тебя — как знамя без флагштока,
Как жизнь без смысла, путь без родника.
Я без тебя — как провода без тока,
Я без тебя — как хаш без чеснока.

Давно бы сердце разорвалось в клочья,
Мечта о море сберегла меня,
Чтобы писал я в океане строчку:
«Как зябка мне без твоего огня».

Во мне уже нет дьявола без Бога.
Души без духа, зла нет без добра.
Я без тебя — как хата без порога,
Без соли хлеб, атака без «ура!».

Всё это чушь, любимая, я знаю,
Ищу слова, глаголы теребя,
Бумаги пуд безжалостно мараю,
Ведь нет меня в природе без тебя.

На гребне волн мечты моей желанной
Спешу к тебе я, время торопя,
Чтобы сказать тебе о самом главном,
Что я с тобою даже без тебя.



* * *

Как без колес не быть и колеснице,
Как не нужны без трала поплавки,
Как Цезарь¹ без египетской царицы,
Лаваш без сыра, море без реки,
Как Марса нет без Ужаса и Страх²,
Сатурна нет без множества колец,
Так мне без Гюлистанки из Арцаха
Давным-давно бы наступил конец.

¹ Цезарь и Клеопатра — это тайна наша до скончания века. (*Прим. авт.*)

² Страх и Ужас (Фобос и Деймос) — спутники Марса. (*Прим. авт.*)



* * *

Я уже сказал о том, что буквально с начальной поры создания семьи мы с женой, не говоря ни слова друг другу, осознали, что будем иметь дело с некоей обреченностью. Обреченностью на разлуку. На долгие разлуки — во множественном числе! Зато знаю, что разлука молодит любовь. Что она не дает любви состариться и захиреть. Гениальный Шекспир гениально сказал, что разлука «позволяет время обмануть». Боже мой, это что же получается? Выходит, что Шекспир за три века до Эйнштейна уже дал точное определение сути и смысла теории относительности. В конце концов разлука порождает добро. Ибо она порождает саму встречу. А ведь Встреча — это праздник. Это — сказка. Это — поэзия. И я не мог не взяться за перо. Всего каких-то восемь строк. Писал тоже в трех океанах, собрав их из разных записных книжек.

Разлука душу не калечит,
Она, как правда, душит ложь.
Разлука порождает встречи,
Как тучи — долгожданный дождь.

Так много грез, желаний разных
Разлука прячет, как сюрприз,
Чтобы при встрече эти сказки
Ворвались былью в нашу жизнь.

Как говорят, еще не вечер.
Надежда, значит, — за окном.
Рожденная разлукой встреча
Внесет охапку счастья в дом.

Любовь не гаснет и не тает,
Хотя сама — огонь и лед.
Она одна на свете знает,
Что будет с нами, наперед.

Любовь врывается без стука,
Хоть позови — не позови.
Она питается разлукой.
Разлука — пытка без любви.

Через танталовые муки
Я проходил, сбив пятки в кровь.
Зато узнал, что без разлуки
Преснее пресного любовь.

Гомер воспел не Одиссея,
Не Пенелопу он воспел.
Разлуки семена посеяв,
Он Встречу освятить хотел.

Однажды взял себя я в руки —
И к Богу — что мне скажет Он?
Господь сказал, что нет разлуки,
Она всего лишь — вещий сон.



* * *

Как прав Бог, назвав разлуку «вещим сном». Вещий — ведь это не только несущий весть, не только пророческий, предупреждающий, но и мудрый, ясновидящий. Кстати, о самом Боге. Да простит мой прадед, старший священник армянского храма Амарас в Арцахе, но в литературе, в искусстве, вообще — в культуре я проповедую... язычество. То бишь многобожье. У меня слишком много богов, особенно среди поэтов. И среди них Федор Иванович Тютчев. Его стихи из «Денисьевского цикла» читать нужно только вслух, даже — в одиночестве. Я часто останавливался и задумывался над отдельной строкой. Да что там строкой!.. У него каждая буква «работает». Подумать только: «И снова прав пирующий палач» (это о турках). Тут ведь союз «и» подчеркивает, что преступление совершается часто. «Пирующий», то есть убийца, остается безнаказанным. А какая страшная следующая строка: «А жертвы... преданы злословью» (это об армянах). Строки эти я взял из трагической строфы Тютчева. Начинается она словами «Опять Восток дымится свежей кровью...». Строфу из этого стихотворения «Хотя б она сошла с лица земного» я озвучил с высокой трибуны Верховного Совета СССР.

Где-то в моих разбросанных по всем углам архивах хранится своего рода трактат о строках Тютчева. Я уже приводил одну его строку, в которой в характеристике разлуки есть удивительное словосочетание «высокое значенье». И вот теперь приведу из того же стихотворения слова о любви и сне: «Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье»... И когда в океане я писал об одном не только вещем, но и вечном моем камчатском сне, то, вспоминая любимого поэта, подумал, что тютчевские «высокие мгновенья» иногда длятся очень долго. Целых сорок лет. Мало того, сон, как мгновение, может вернуться, может повториться. И каждый раз, как только появляется на небе луна, я непременно вспоминал тот сон. Именно это обстоятельство стало своеобразным сюжетом для очередного

стихотворения, которое, как и многие другие, было написано в разных широтах. Там, кстати, есть строчка «Тот Новый год я встретил в тундре с елкой». Учítывая, что я вовсе не помышлял обнаружить стихотворение, мне и в голову не приходило уточнять, что это за год такой и что это за елка такая, да еще в тундре, а не, скажем, в тайге. Посему будет правильнее, если я приведу цитату из моей книги «Ледовый путь» о многомесячном переходе на собачьих и оленьих упряжках по камчатской и чукотской тундре. Там приводится имя «Никита». Это двадцатисемилетний Никита Сергеевич Михалков: «До Нового (1973 — 3.Б.) года осталось полдня. Каюры предложили дать собакам и оленям отдохнуть. Прямо у дороги, рядом с палаткой, обнаружили симпатичную пушистую елку. Никита долго рылся в своем громадном рюкзаке, пока не извлек какую-то коробку. Снял крышку — все ахнули. Елочные игрушки... Заброшенное, одинокое дерево вмиг стало таким родным, таким близким сердцу...».

Вот и попала эта наша легендарная елка в стихи, написанные через долгие десятки лет в Атлантическом океане.

Из каждого камчатского поселка
Тебе я телеграммы посылал.
Тот Новый год я встретил в тундре с елкой,
С оленями на перевале спал.

Тогда на том пологом перевале
Впервые ты явилась мне во сне
И магией своей околдовала,
Я помню, это было при луне.

С тех пор я часто отправлялся в дали,
И часто приходила ты ко мне,
Но что чудно — тот сон на перевале
Всегда я видел только при луне.

И вот теперь над морем полнолуние
Молочным цветом красит небосклон.
Вошла в каюту ты, моя колдунья,
Чтоб не забыл я тот камчатский сон.



* * *

Однако больше всего, чаще всего, шире всего (я имею в виду моря, океаны, маршруты, курс, экватор, расстояния) я писал о спюрке, о Месропе Маштоце, о Святой Армянской Апостольской Церкви, о храмах и церквях, которые мы должны собрать, как камни у Еклизиаста. Я, можно сказать, всю свою жизнь занимаюсь спюрком. Написаны отдельные книги и сотни статей. Но вот в кругосветке меня уже донимали стихи. Я не мог остановиться, точнее, не мог силой остановить себя. Ведь тысячу дел надо делать ежедневно на борту. Во всех блокнотах есть начатые и не завершённые эти самые дела. Да ещё иногда в шторм писал такими истеричными каракулями, что не мог потом концы с концами свести, связать. Около ста строф о спюрке, о Маштоце, о церквях. Не знаю почему, но довольно часто думал о тех моих соотечественниках, которые, к примеру, 24 апреля 1915 года находились ещё в утробе матери. Нередко будущие матери сами были уже на сносях именно в этот страшный день. Я, как врач, хорошо знаю, что чудовищное состояние матери, обуреваемой смертельным страхом, не может не передаваться ребёнку. Ведь у них общее кровообращение. Надо же, какие физиологические кошмары приходили мне в голову.

Да, более ста строф, ста четверостиший, не считая многих страниц, я бы сказал, объяснительной прозы. Но я решил здесь поместить двенадцать, предварив их неким предисловием или прологом, или каким-то пространственным эпиграфом вместе с тютчевскими строками. Однако несколько слов о том, как зародились строки этого своего рода эпиграфа к поэме «Время собирать... церкви».

Герой одного из документальных сюжетов Вардгес Даллакян рассказывал о том, как его отец Асатур часто повторял, что был укушен змеей, находясь ещё в утробе матери, которая

прошла по горячим, как угли тондира, пескам пустыни Тер-Зор. Звали мать Мариам. И ей все время казалось, что ее без конца кусают змеи. Полагают, что это от кнутов, которыми турки хлестали по спинам голых жертв. Асатур говорил еще и о том, что он является обобщением образа спюрка, и делал все, чтобы вместе с матерью даже на чужбине чувствовать, будто живет в Армении.

Помнится, как по ночам я не мог заснуть. Все думал о той ядовитой кобре, которая укусила беременную Мариам в Тер-Зоре, и о том, как сын в утробе матери чувствовал боль от змеиного укуса. И я включил свою двенадцативольтовую лампочку. Взял блокнот и понял, что первая фраза, вымученная когда-то Асатуром, звучит, как готовая стихотворная строка. Далее родились последующие строки, которые я вложил в уста Асатура.



ВРЕМЯ СОБИРАТЬ... ЦЕРКВИ

Опять Восток дымится свежей кровью,
Опять резня... повсюду вой и плач,
И снова прав пирующий палач,
А жертвы... преданы злословью!

Ф. Тютчев

Я был укушен ядовитой коброй
Еще в утробе матери родной.
Я образ спюрка. Обобщенный образ,
Который создан на земле чужой.
Рассеяли меня по белу свету,
Я говорю на разных языках.
Живу везде по деловским заветам,
Преодолев себя и вечный страх.
И вслушиваясь в стон церковных звонов,
Все делаю, чтобы в чужих краях
С тобою быть, словно дитя с Мадонной,
Армения, Армения моя.

Асагур

Был божий замысел вначале
Рассеять нас, чтобы собрать,
И чтоб, пристав к чужим причалам,
Тотчас же церковь воздвигать.

Готов я вылезти из кожи,
Чтоб миру рассказать о том,
Как предки строили Храм Божий
И только вслед за ним — свой дом.

Не так все было это просто,
Чтоб встали грудью млад и стар,
Чтоб возводил Народ-Апостол
Святую Церковь и хачкар.

Мы знали — впереди кручина
И что хачкарам быть в крови,
Что будет горькая чужбина
И все ж, спасение — в любви.

Я повернул судьбину круто,
За тропы предков жизнь отдам,
Чтобы пройти по их маршрутам,
По их дорогам и стопам.

И в память о святом Месропе
Над «Киликией» взвился стяг,
Чтоб мы прошли вокруг Европы
По всем церквям и крепостям.

От «Киликии» эстафету
Приняв, «Армения» опять
Решилась на виду планеты,
Как камни, церкви собирать.

Молили Бога мы в тревоге,
Чтобы с маршрута не сойти,
Чтоб одолеть отцов дороги,
Чтоб за грехи Он нас простил.

Пусть нормой будет корка хлеба
Да к ней всего воды стакан.
Пусть Бог даст звездное нам небо
И с добрым ветром океан.

«Армения» по океанам
Должна флаг Гайка пронести.
Она подобна Каравану,
Который до сих пор в пути.

Мы по морям и океанам,
По всем пяти материкам,
Пройдем по городам и странам,
Где всюду Храм, Армянский храм.

И вот на парусе трехцветном
«Армения», презрев прибой,
Несет народам в кругосветке
Свою попутную любовь.



* * *

Я ждал этого дня. Как-то даже гонялся за ним. Искал его. Ничего здесь странного нет. Давным-давно это было. Ну, почти полвека назад. Тогда, в шестидесятых, часто отправлялся я по санзаданиям из Петропавловска-Камчатского в тундру. К оленеводам. Моим пациентам. Об этом много писал и очерков, и рассказов. В «Литературной газете» одна из публикаций называлась «Коммо приходит первым». С этим добрым и мужественным коряком встречался я так часто, что никак уже не мог вспомнить тот первый день, когда с ним познакомился. В книге «Ледовый путь», которую писал в начале семидесятых, глава, посвященная судьбе легендарного «бессменного бригадира оленеводческой бригады», так и начинается: «Это было несколько лет назад». Так что действительно почти полвека прошло. Но вот не забывается — и все тут. Вспоминаю регулярно и здесь, на борту «Армении». Вот почему решил рассказать об этом именно в книге о кругосветке.

Коммо был многократным, как мы его тогда называли, коряжским олимпийским чемпионом по марафонским гонкам на оленьих упряжках. Я знал этого человека, когда он под семьдесят был еще сильным, быстрым, часто улыбающимся. Сам повез его на вертолете из поселка Хаилино в петропавловскую областную больницу. Это было впервые за все его семьдесят лет жизни. От непривычной обстановки он был хмурым и ироничным. На вопрос лечащего врача: «На что жалуетесь?» Коммо сухо ответил: «Я никогда не жалуюсь».

Тема жизни и смерти Коммо так глубоко овладела мной, что я написал, как уже говорилось, рассказ в «Литературной газете» под названием «Схватка». Он был помещен во многих моих книгах, в том числе и в Собрании сочинений¹. Снят двухсерийный художественный фильм. Главные роли играли оскарровский лауреат Максим Мунзук и Армен Джигарханян (тот самый).

¹ Опубликован в первом томе Собрания сочинений. (Прим. ред.)

Через четыре года семидесятичетырехлетний Коммо решил «жить один». Это означает: готовиться к расставанию с жизнью. Так делали его предки. Так они поступали, прекрасно сознавая, что в тундре, да еще зимой, в одиноком семейном чуме никак нельзя позволить себе при детях и женщинах вступать в неравную борьбу со смертью. Тут еще есть одно обстоятельство: старики хорошо знают, что если ты родился в пургу, то и умрешь в пургу. И что с рождением своим ты приносишь в этот мир добро, которое избавляет чум от хлопот. Да еще в непогоду. А Коммо родился в пургу...

...Нет на Камчатке ни одного населенного пункта, в котором бы я не бывал. Думаю, об этом знают (знали) все камчадалы и камчатцы шестидесятых и семидесятых годов. Но вот в крохотный поселок Хаилино, расположенный на стыке реки Вывенка и ее притока Тильоваям, ездил на собаках и летал на вертолетах чаще всего. Кроме прочего, у многих моих коллег были семьи и дети, а я, будучи холостым, любил санздания не только потому, что меня тянуло к моим мудрым пациентам тундры, но и потому, что любил дороги, собачьи упряжки и вертолеты. Если я по врачебным делам летал в райцентр Олюторского района Тиличики, то непременно, улучив момент, отправлялся в Хаилино. Я должен был повидать моего друга, настоящего философа — старика Коммо. Дело в том, что я знал тайну моего пациента, который, доверившись мне, однажды признался по какому-то поводу: «Все в порядке, я ведь уже решил жить один». Сказал так, ничуть не сомневаясь, что мне хорошо известны суть и смысл этого самого «решил жить один». Это же, кроме всего прочего, красиво: «жить один», то есть умирать один. Однако пока не остановится сердце, человек еще дышит, а стало быть, живет, мыслит. В то же время для всех уже умер. Живая смерть. Так говорил Коммо. Нормальный, я бы сказал, действительно красивый парадокс. Но главное, что до последней минуты, до последнего мгновения он должен оставаться самим собой. Человеком.

Старик Коммо признался, что от шаманов и дедов знал, как должен вести себя в тундре человек, который для всех умер, но еще жив. Не бояться чертей, не стрелять ни в зайца, ни в куропатку, ни в соболя (зачем переводить добро). Только — в волка в схватке. Если же ранил, то в обязательном по-

рядке — догнать и пристрелить. Не дать страдать раненому существу. Нужно вслух произносить имя матери, которая там, на небесах, у бога Кутха, видит, как сын прощается с тундрой. Надо поймать взглядом последний свой след, в котором отражается все то, что ты оставил тундре и людям. И, конечно, надо вспомнить врага своего. Если же вдруг затягивается смерть, да еще и погода тихая, солнечная, то можно устроить себе последнюю гонку на оленях, пока не начнется пурга, помня при этом о том, что ты родился в пургу. Это уже для того, чтобы вернуться к месту последнего костра. Даже в борьбе с самим собой надо победить себя самого. Быть осторожным с последней спичкой, чтобы ветер не сдул пламя. В рассказе «Схватка» подробно описано, как это делается, особенно в пургу. Ну и, конечно, еще раз напомним: какой бы ни был итог, но нужно поймать взглядом последний свой след, символизирующий все то, что ты оставил на земле после себя.

...В последней встрече в Хаилино со стариком Коммо я поведал ему историю его сверстника, английского мореплавателя Уильяма Уиллиса, который совсем недавно в последний раз вышел в Атлантический океан и через несколько месяцев нашли крохотную яхту «Малютка» без хозяина. В зарубежной печати сообщалось, что знаменитый мореплаватель погиб и, очевидно, никто никогда не узнает, как это произошло. Коммо, прищуриив свои узкие, как запятые, глаза, глубоко вздохнул и, медленно выдохнув, тихо сказал: «Я видел наш Тихий океан не только стоя на мысах Ильпинский, Говена, Олюторский, но и в молодости — на небольшом рыболовецком судне прошел залив Корфа, огромный Олюторский залив, вышел в открытый океан, где уже не видно было земли, и понял, насколько похожи Тундра и Океан. И там, и там нет края и конца — один только уходящий от тебя горизонт». Я чувствовал, что он хочет еще что-то добавить и молчал в ожидании. Не ошибся. Коммо спросил: «А вы знаете, что напоминает океан?» Я ответил: «Вы же говорили, что напоминает тундру, кстати, я даже писал об этом». Коммо широко улыбнулся, практически закрыв глаза, и громко сказал: «Океан, и Тундра тоже, похожи на дом».

Конечно, надо иметь особое, какое-то неземное поэтическое воображение, чтобы сотворить такой удивительный образ. И еще. Я хорошо знал, что Коммо, готовясь к встрече со смер-

тью, часто вспоминал слова своего отца: «Главный след, который человек оставляет в тундре после себя, — это построенный (сшитый, возведенный) чум. Чум, который больше чем просто дом, чум — это всё. Вот почему надо уловить свой последний след в снегу».

В книге «Белый марафон», изданной около сорока лет назад издательством «Детская литература», в главе о Коммо есть такой абзац: «Мне вспомнился знаменитый мореплаватель-одиночка — 75-летний Уильям Уиллис, решивший по-своему уйти в мир иной. А для него «Мир иной» и «Мир этот» — включали в себя одно слово: «Океан». Коммо прав, тундра — это тот же океан. Те же бескрайние просторы, та же суровость, то же разнообразие красок горизонта, та же душа». Если кто-нибудь проверит точность цитаты, то заметит, что в книге ничего нет о «душе». Но она есть в моей рукописи. И ее снял главлит. А год спустя главлит «Мосфильма» изрезал, искромсал душу и Коммо, и мою, и особенно режиссера фильма Юрия Ерзнкяна (вспомним его легендарную ленту «Песня о первой любви»), ультимативно навязывая элементы ощутимо прогрессивного влияния советской власти на жизнь и быт народов Крайнего Севера, на победу в борьбе с пережитками прошлого. Надо было видеть, что творилось с Юрием Ерзнкяном. С этим талантливым, интеллигентным (в чеховском понимании) человеком с тонкой душой и большим сердцем. Переживал он еще и за меня, как он говорил, вдвойне. Юра предложил мне написать песню, которая должна была сопровождать Коммо в его последнем пути. В песне той Коммо обращается сам к себе. Проблемы с музыкой у нас не было. С нами работал выдающийся армянский композитор Тигран Мансуриан. Я написал стихи. И вскоре забыл о них. Дело в том, что после издевательств главлита над фильмом суть песни, особенно детали, зритель просто не понял бы. Однако не забыл стихи сам Юрий. Лет через десять, к моему шестидесятилетию, он поместил их в армянской киношной газете, сопроводив своим трогательным поздравительным словом.

И вот сейчас, когда я поведал всю эту драматическую историю Коммо, думаю, можно, не забывая всех тех, кто оставляет добро на этой земле, обнаружить неспетую песню о хорошем человеке, который перед смертью произнес имя матери, не отрывая цепкого взгляда от последнего следа своего.

Тебе ни Бог, ни сатана не смогут
Помочь, коли пришла твоя пора.
Последнюю ты выбирай дорогу,
Погрейся у последнего костра.

В последний раз поспоришь ты с судьбою,
Мол, человек, рожденный в шторм и гром,
Приходит в мир, неся добро с собою,
Уходит, оставляя лишь добро.

Последнее, второе чтоб дыханье
Открылось, надо схватку сотворить,
Тогда придет последнее желанье —
В последний раз быть первым. Победить.

Последнюю свою не чуешь рану,
Все норовишь ты боль перехитрить,
Чтобы догнать последнего подранка,
Которого грешно не пристрелить.

Стоять нельзя! Спасение в движенье,
Последнюю версту преодолей.
На финише одно есть утешенье:
Не страшен черт и тысяча чертей.

Последняя в коробке будет спичка.
Последний выстрел и последний шаг.
Но и тогда останется привычка:
При мысли о враге — сжимать кулак.

Настанет миг — погаснет в жилах пламя.
То не конец — душа вдруг запоем.
В последний раз ты вспомнишь имя мамы
И позабудешь в первый раз свое.

Когда уже ты смерть, как счастье, встретишь,
Не страшную и белую, как снег,
Ты бросишь взгляд, презрев пургу и ветер,
Последний взгляд на свой последний след.
На свой последний след...